

Холм грез

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1895 году я наконец убедился или почти убедился в своем призвании. Уже более двенадцати лет я был, что называется, «профессиональным писателем». В 1883 году, пытаясь побороть одиночество и бедность, я написал небольшую «Историю табака». В 1884-м — перевел «Гептамерон» Маргариты Наваррской, а 1885 и 1886 годы посвятил «Хроникам Клеменди», большому тому средневековых повестей. Еще один перевод — «Искусство достигать цели» Бериальда де Вервиля (имя этого автора звучит куда привлекательнее, чем того заслуживает его книга) — занимал мои вечера в 1888 и 1889 годах, тогда как в дневные часы я перекладывал на английский язык двенадцать томов воспоминаний Казановы.

В 1890-м я сочинял статьи и эссе, рассказы и заметки, а также всякий вздор для газет, от которых ныне уцелели лишь названия — «Глобус», «Сент-Джеймс газетт», «Вихрь»; сюда же можно приплюсовать «изящные вещицы» для вымирающего поколения журналов, адресованных читателям из так называемого хорошего общества. В 1890-м и 1891-м я писал «Великого бога Пана», в конце 1894 года эта повесть была напечатана и произвела некоторое волнение среди старых дев — как в прессе, так и за ее пределами. Весной и летом 1894-го я возился с «Тремя самозванцами»,

но книга, вышедшая осенью 1895-го, успеха не имела. И таким вот образом к концу 1895 года я убедился, что превращаюсь в «профессионального писателя», чье ремесло — создавать книги. И теперь мне следовало сесть за стол и написать еще одну книгу. Прекрасно! Оставалось только решить: какую?

И тут мне очень помогла неудача «Трех самозванцев». Как я уже говорил, эта книга осталась почти незамеченной, а если кто и обратил на нее внимание, то выразил резкое недовольство ею. Меня окрестили второсортным эпигоном Стивенсона. Не совсем заслуженно, но доля правды в этом была, и я счастлив сообщить, что сумел достойно встретить поражение. Мне надлежало исправиться, и я принял нужное решение. Я сказал моему другу, известному гражданину Америки А. Э. Уэйту: «Больше никому не буду предлагать белый порошок». В общем, мне удалось исполнить этот обет. Приходилось начинать все сначала, с чистой страницы, искать новую тему и новый стиль. Без белого порошка, без «чаши властителя бездн», без великого бога Пана, гномов, эльфов и прочих подозрительных персонажей, а также (и это оказалось сложнее всего) без размеренной, завершенной стивенсоновской речи, которой я научился владеть с известной сноровкой и легкостью. Кое-что я уже знал. Например, какую книгу я писать не буду. Оставалось решить, какую буду.

Эта проблема занимала мои мысли во время прогулок по сумрачному Блумсбери, как нельзя более подходящему для человека, стремящегося к сосредоточенному размышлению. Я только что перебрался на новую квартиру — в Вернлэм-билдинге на Грей-Инн. Теперь, пройдя по Теобальд-роуд, я сразу попадал в тот старинный серый квартал, где жизнь шла так же спокойно и тихо, как в маленьком провинциальном городке. Один серый квартал сменялся другим, тихие улочки, похожие, как близнецы, незаметно перетекали друг

в друга — все здесь было достойно, солидно, шум больших улиц и людской суеты не нарушал покоя. Кто-то поднимался по ступенькам сумрачных старых домов, кто-то спускался, местные торговцы, все как один продолжатели семейного дела, старомодные, настойчивые и честные, спокойно и ненавязчиво предлагали свои товары. Тихий и умиротворенный Блумсбери помогал мне сосредоточиться, и в его серой тишине я напряженно пытался осмыслить стоявшую передо мной задачу.

Наконец я нашел решение. Оно пришло не изнутри и даже не из Блумсбери, оно было подсказано мне извне. Я почти уверен, что подтолкнуло меня предисловие к «Тристраму Шенди», написанное известным и талантливым критиком Чарльзом Уибли. Определяя жанр этого шедевра Стерна, мистер Уибли заметил, что его можно назвать плутовским романом, посвященным приключениям ума, подобно тому как плутовской роман «Жиль Блас» посвящен приключениям тела. Когда я читал эту статью, противопоставление Уибли поразило меня, и вот теперь, ломая голову над книгой, которую мне предстояло написать, я припомнил его фразу и, применив ее к другому шедеврному восемнадцатого века, подумал: а почему бы мне не написать «Робинзона Крузо» — только такого «Робинзона Крузо», где героем будет не тело, но душа? Я пришел к выводу, что именно это мне и следует сделать, взяв за основу тему одиночества, страха и разобщенности; но от одиночества моему герою предстояло страдать не на необитаемом острове, а в дебрях Лондона: в одиночестве среди множества других человеческих существ. Моей темой должно было стать душевное одиночество. Океан, окружавший Робинзона Крузо и отделявший его от других людей, в моем романе должна была заменить духовная бездна. Я полагал, что эта тема подходит мне как нельзя лучше, ведь в таких делах у меня был собственный опыт. Два года я познавал одиночество в мо-

ей маленькой комнатке на Кларендон-роуд у Ноттинг-Хилл-Гейт, так что материала для книги было предостаточно. Словом, я крепко ухватился за эту идею и начал работать.

Пока еще не писать, но постоянно обдумывать книгу. Я брал ее на ночь с собой в постель, как ребенок, который не расстается с любимой игрушкой даже на время сна, я клал ее на стол возле утренней чашки чая, опять-таки подобно ребенку, сажающему на стол новую куклу рядом со своим блюдцем. Идея романа и верный бульдог Джаггернаут стали моими постоянными спутниками во время прогулок по сумрачному Блумсбери и серым утром, и ранним вечером, когда начинало смеркаться и на город опускалась прохлада. Изредка я обедал с друзьями, но и тогда не расставался со своей идеей — я аккуратно укладывал ее в карман и то и дело вытаскивал, чтобы посмотреть на нее и убедиться, что она по-прежнему цела, по-прежнему со мной. Незаметно для моих сотрапезников я подливал чуть-чуть своей идеи в вино и подмешивал ее в соус. От этого вкус и запах вина и мяса необычайно выигрывали. Когда же на меня нападала скука и я лишился аппетита, одна-две столовые ложки моей будущей книги бесследно снимали хандру.

Потом я начал выстраивать ее на бумаге, пытаюсь свести к какой-то разумной форме, расписывал план, продумывал эпизоды, в которых наиболее очевидно и выигрышно проступит моя мысль, определял основной ход сюжета, записывал те «куски», что уже требовали выхода. Так продолжалось несколько недель. Драгоценный замысел был, если можно так выразиться, послан мне где-то в конце октября, но лишь в начале февраля я решился приступить к работе — сел за стол, разложил бумагу и трепещущей рукой вывел первую фразу первой главы. Вот тут-то и начались главные трудности.

Во-первых, я ведь обещал, как вы помните, изменить свой стиль. Точнее, я собирался избавиться от той манеры, в которой были написаны «Три самозванца», — манеры не столько моей, сколько стивенсоновской. Мой собственный стиль, или что-то в этом роде, я еще должен был найти. С изысканно округлой фразой, с четким равновесием слов, с плавным восхождением и снижением звука было покончено. Никаких декораций, все просто, буднично, повседневно. Но это мне никак не давалось. Сквозь первую главу я продирался с огромным трудом. Старых правил я лишился, новые еще предстояло изобрести. Изобретая их, я изрядно попотел. Рукопись первой главы превратилась в сплошные помарки, вычеркивания, вставки и исправления. Все же я кое-как справился с ней и, принимая во внимание все обстоятельства, готов был себя с этим поздравить. Полный надежд, я приступил ко второй главе. И тут все рухнуло.

Я уже говорил, что заготовил и расписал план книги, что все уравнивал и продумал последовательность событий и эпизодов. И вот, едва написав первые две строки второй главы в строгом соответствии с планом, я понял, что в таком виде книга в принципе не может быть написана. Гипсовая модель развалилась у меня в руках. В гипсе все выглядело очень красиво, но превратить это в мрамор оказалось невозможно. То была страшная минута.

Три недели я просидел над пустым листом бумаги. Ночь за ночью я пытался написать эту проклятую вторую главу, ночь за ночью я стонал и стучал кулаком по столу. Иногда за всю ночь я успевал написать только две строки, иногда — изводил две плотные пачки бумаги, но все без толку. Ни в одном слове не было ни жизни, ни огня, ни правды, ни движения. Первую главу задуманной книги мне удалось написать, но всю книгу я написать не мог. И все же я должен был это сделать.

В те годы мое упорство не уступало упорству славного бульдога Джаггернаута, а уж его никто не мог переупрямить.

Должен сказать, что, по моему глубочайшему убеждению, я сам загнал себя в эту безвыходную ситуацию как раз тем, что до мельчайших деталей продумал предстоявший мне путь и так тщательно составил план. Я уже рассказывал, как мысленно прокатывал свою книгу вперед и назад, вверх и вниз, как все планировал и распределял, срывал горы, подрезал кустарники, вырубал деревья, чтобы дорога была легкой и гладкой. Вот это и мешало мне теперь пуститься в путь. Потому что, говоря по совести, литература для меня всегда была приключением. Ее смысл, ее радость, как я их понимаю, неразрывно связаны с проникновением в новые миры, в неизведанные страны, каждая глава — это высокий холм в Дэрине, с вершины которого я должен увидеть недоступные прежде глазу просторы. В этом для меня и таится смысл каждого эпизода. Он должен проявиться, пока я пишу самые обыкновенные слова, пока чернила стекают с острия пера, а иначе все написанное не стоит и ломаного гроша. Но, приступая к этой злосчастной книге, я слишком долго разведывал предстоявший мне путь и, начав наконец писать, обнаружил, что никаких открытий уже не осталось. Ни чудес, ни тайн, ни зарытых неведомо где сокровищ — не осталось ничего необычного и удивительного. Все было хорошо мне известно, давно знакомо и совершенно лишено смысла.

И все же я должен был написать эту книгу, и я писал ее. Наступила счастливая ночь, когда смысл измучившей меня второй главы наконец открылся мне. Насколько я помню, по изначальному плану в этой главе Луциан должен был собрать свои вещи и отправиться в Лондон, навстречу всем полагавшимся ему ужасам

мансарды, и тут мне показалось, что его еще ждет много приключений в родных местах. Я стал думать о них и писать о них, и так я получил возможность еще ненадолго задержаться среди дорогих мне лесов, округлых холмов и незабываемых долин родного Гвента. Я вновь услышал слабые отзвуки той неповторимой песни, которую пела мне когда-то любимая мной страна, песни, которая и сейчас доносится до моего слуха через пустыню долгих трудных лет. Так постепенно я начал писать «Римскую главу», пытаясь возродить римско-британский мир Иски Силурийской, Карлиона-на-Аске, города, в котором я родился. Старинный золотой город (ныне маленькая заброшенная деревня) пропитал все мои мысли — я напряженно прислушивался к маршу легионов по глубоким зеленым впадинам Вентвуда, к зову их труб, и голова у меня, как говорят в здешней части Англии, «шла кругом». Я бродил по привычным улочкам туманного Блумсбери, погружившись в свои видения, и, внезапно очнувшись, потрясенно осознавал, что стою на Лэм-Кондуит-стрит, или на Мекленбургской площади, или посреди пустынной Грейт-Корам-стрит, что нахожусь вовсе не в саду Авалона и брожу не по дорогам нимф и не по мосту Сатурна (именуемому так до сих пор). Не в силах определить, где я, припомнить, что собирался делать, я был не в состоянии сориентироваться, найти хотя бы запад и восток, север и юг, сообразить, как же я попаду домой на Грей-Инн, где меня уже ждет обед. Вот таким-то странным образом и была создана четвертая глава. Я гордился собой и с энтузиазмом принялся за пятую, шестую, седьмую главы, а затем, отправившись на месяц на каникулы в Прованс, вернулся, полный сил и уверенности, что теперь-то я быстро закончу книгу.

Увы! Мне предстояло тяжкое падение с вершин, на которые вознесла меня гордыня. Я перечитал последние три главы и вдруг увидел, что все они безнадежно

плохи, что они попросту никуда не годятся, что я, сам того не заметив, чуть-чуть отступил от правильного пути и двигался вперед, уходя все дальше и дальше от верной дороги, пока вовсе не заплутал. Мне не удалось подойти к дому — я стоял посреди темного леса и не знал, как из него выбраться.

Оставалось только одно. Я спрятал три неудачных главы поглубже в ящик стола и начал все сначала — то есть с конца четвертой главы. С пятой и шестой я справился быстро, а затем вновь безнадежно бился много недель подряд над седьмой, завершающей главой. Вновь я шел по неверному следу, вновь все мои труды пропадали даром и вокруг стола росла гряда понапрасну изведенной бумаги, пока какая-то, сам не знаю какая, случайность не подсказала мне правильный ход, — и я в два дня написал последнюю главу. Снова меня выручило воспоминание о той древней стране, и с его помощью книга была закончена. Вся эта работа, от начала до конца, заняла восемнадцать месяцев.

Теперь дело было за издателями. Ответы, которые я получал от них, могли растопить сердце самого закоренелого циника. Эти жестокие деловые люди не жалели своего времени, стараясь быть добрыми. Один за другим они писали мне длинные письма, мелким почерком и на огромных листах хорошей бумаги. Все они умоляли меня прислушаться к их мнению, заклинали не публиковать эту книгу, эту жалкую, ничтожную, тоскливую поделку, которая погубит те остатки писательской репутации, которые у меня еще сохранились.

Один из этих добрых людей пошел еще дальше. Месяца через два после того, как он вернул мне «Холм грез» с любезнейшим письмом объемом в хорошую статью, я наткнулся в какой-то газете на колонку «литературных новостей», и меня глубоко заинтересовало одно объявление. Звучало оно примерно так.

«Мистер Такой-то (следовала фамилия издателя) и мистер Аноним (известный писатель) заключили договор на роман, который обещает быть чрезвычайно интересным. В нем будут описаны, как сказал мне мистер Такой-то, приключения молодого человека, живущего отчасти в нашей современности, а отчасти в римском мире второго века нашей эры. Сюжет кажется мне совершенно новым и интригующим, и я с нетерпением жду появления весной этой книги. Соавторы еще не решили окончательно, под каким названием должна выйти их великолепная история».

Я расхохотался. Уж мне-то было известно, откуда взялся сей многообещающий молодой человек — из четвертой главы моей рукописи. Тем не менее об этой исправленной и дополненной версии больше ничего не было слышно, и в 1907 году, через десять лет после написания, книга вышла в свет.

ГЛАВА 1

Небо полыхало, словно там, в вышине, открылась заслонка огромной печи.

А перед глазами до сих пор стояли сказочные места, по которым он бродил весь день. Каникулы были на исходе, и Луциан Тейлор вышел с утра пораньше из дому, намереваясь добраться до незнакомых еще холмов и их окрестностей. Изнемогший после сильных дождей воздух неподвижно затих, над землей низко нависали свинцовые тучи. Над горами царило полное безветрие, а внизу, в глубокой долине, не шелестели даже сухие листья и ни одна ветка не шевелилась в темном январском лесу.

Примерно в миле от дома священника Луциан сошел с главной дороги и углубился в лес по тропинке, обещавшей тайны и приключения. То была старая, заброшенная дорога, почти канава, которую талые воды прорыли на десять футов в глубину. Разросшиеся по ее обочинам кусты густо переплелись друг с другом, образовав над тропой темный свод. По обеим сторонам текли стремительные ручьи, и порою вода вырывалась из берегов, заливая и саму дорогу. Здесь было так темно, что вскоре Луциан потерял всякое представление о том, куда вела его эта тропа, спускавшаяся все ниже и ниже — в таинственную бездну.

Не менее двух миль прошел он между отвесными стенами, пока наконец отлогий спуск не прекратился. Луциану казалось, что он проделал огромный путь — путь, отделявший известный ему мир от неведомого. Он спустился в какую-то глубокую лощину, со всех сторон зажатую скалами. Окаймлявший ее темный лес не пропускал солнечного света. Позади и впереди, справа и слева — повсюду из скрывавшихся под корнями невидимых источников струилась вода. Постепенно становясь все шире и глубже, эти прозрачные потоки устремлялись в одном направлении и впадали в небольшую речушку, пересекавшую долину. Посреди усталого, оцепенелого молчания, что царило под неподвижными свинцовыми тучами, этот шум стремительной, бурлящей воды казался неуместным, и Луциан невольно остановился на маленьком шатком мостике, глядя, как проносятся в потоке куски древесины, ветви деревьев, клочья соломы, — в безумной гонке обрушивались они в пенный водоворот и замирали в заторе возле упавшего в ручей дерева.

Тропинка вновь пошла в гору — миновав известняковые холмы, Луциан карабкался все выше и выше, и шум воды внизу постепенно превратился в невнятный гул, похожий на летнее жужжание пчел. Потом на короткое время тропа перестала взбираться вверх, и наконец в зарослях, ограждавших ее с обеих сторон, показался просвет — появилась возможность забраться на какой-то выступ, выглянуть наружу. Как Луциан и думал, он увидел совершенно незнакомую дикую местность: за живой изгородью раскинулся неведомый, забытый край. Луциан стоял на ровной площадке на вершине холма — перед ним простирались широкие равнины и глубокие извилистые овраги, а дальше, за лесом, виднелась еще более пустынная местность с дикими голыми скалами, темными, в оторочке лесной

чащобы лугами и застывшим над этим скупым пейзажем серым небом. У самых ног Луциана тропа почти отвесно ныряла вниз, в новую долину, за которой открывался еще один крутой склон, поросший низкой травой, в которой то и дело встречался засохший папоротник да изредка попадались какие-то колючки, затем пошел огромный дубовый лес, молчаливый, тихий и пустынный, словно нога человека никогда не ступала сюда. Трава и папоротник, колючие кусты и лес — все это казалось сумрачно-серым под низким свинцовым небом, и, глядя на раскинувшуюся перед ним картину, Луциан будто читал прекрасную книгу, смысл которой ускользал от его понимания. Как герой волшебной сказки, он бесстрашно шел вперед, разглядывая открытую им удивительную страну и ощущая скорее кожей, чем зрением, что день близится к закату и все вокруг насыщается сумрачным серым цветом. Скоро откуда-то издалека до Луциана донеслись привычные звуки вечерней деревни — мычание скота и лай овчарок. Было уже поздно, тени сгущались, и он ускорила шаг, но тут тропинка пошла под уклон, резко повернула, и Луциан с облегчением понял, что вновь оказался среди знакомых мест: он описал почти полный круг и вышел к долине, ведущей к дому, — оставалось пройти не больше мили. Луциан весело зашагал вниз. Затянутый белесоватой дымкой воздух чуть искрился, делая зыбкими привычные очертания деревьев, изгородей и домов. На вершине холма мерцали стены Белой Фермы, казалось, они пытаются оторваться от земли и устремиться навстречу Луциану. И тут что-то случилось. Легкий порыв ветра прошелестел по живой изгороди. Кусты ответили суховатым, скрежещущим шепотом. Немногие уцелевшие еще листья задрожали на ветвях, а один или два унесенных ветром листочка закружились в бешеном танце. Потом ветер усилился, подул с другой стороны, и на этот раз даже толстые

ветви откликнулись ему, застучав друг о друга, словно кастаньеты. Порыв ветра вернул воздуху ясность и прозрачность. В эту минуту Луциан проходил мимо развилки, где тропинка сворачивала к маленькому домику миссис Гиббон, одиноко стоявшему среди полей: поднимавшийся из трубы голубой дым вычерчивал четкую тонкую линию на фоне неуклюжих темно-зеленых деревьев и разлившейся по небу бледной полосы заката. Луциан миновал развилку, сосредоточенно глядя под ноги, — но тут что-то белое отделилось от темной изгороди, проскользнуло мимо него и растворилось в таинственном полумраке сгущавшихся сумерек, чуть подкрашенном багрянцем последних солнечных лучей. Несколько минут Луциан пытался сообразить, кто бы это мог быть, — обманчивые сумерки искажали все то, что представлялось таким ясным при свете дня, — а потом понял, что это всего-навсего Энни Морган, дочь старого Моргана с Белой Фермы. Энни была на три года старше Луциана, ей исполнилось всего пятнадцать, но, приехав домой на зимние каникулы, Луциан был сильно раздосадован, увидев, как сильно она выросла с лета. Он спустился с холма и, случайно подняв глаза, обнаружил необычайную перемену, происшедшую с небом. Бледная полоса превратилась в огромную реку призрачного света, тяжелые свинцовые тучи расползлись отдельными хлопьями, и теперь ветер быстро разгонял в стороны их обрывки. Луциан остановился, чтобы получше разглядеть все эти метаморфозы, и взгляд его упал на высокую насыпь, громоздившуюся над холмом, по которому он спускался в долину. Происхождение этой насыпи было ему хорошо известно: природное образование, изначально имевшее форму крепости, которое затем выровняли и укрепили римляне. Глазам Луциана предстали высокий вал, неизменно именуемый отцом мальчика крепостной стеной, и глубокая канава на северном склоне холма —

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-------------------------------------|-----|
| ХОЛМ ГРЕЗ | 5 |
| ТАЙНАЯ СЛАВА | 227 |
| Примечания. <i>Е. Пучкова</i> | 440 |